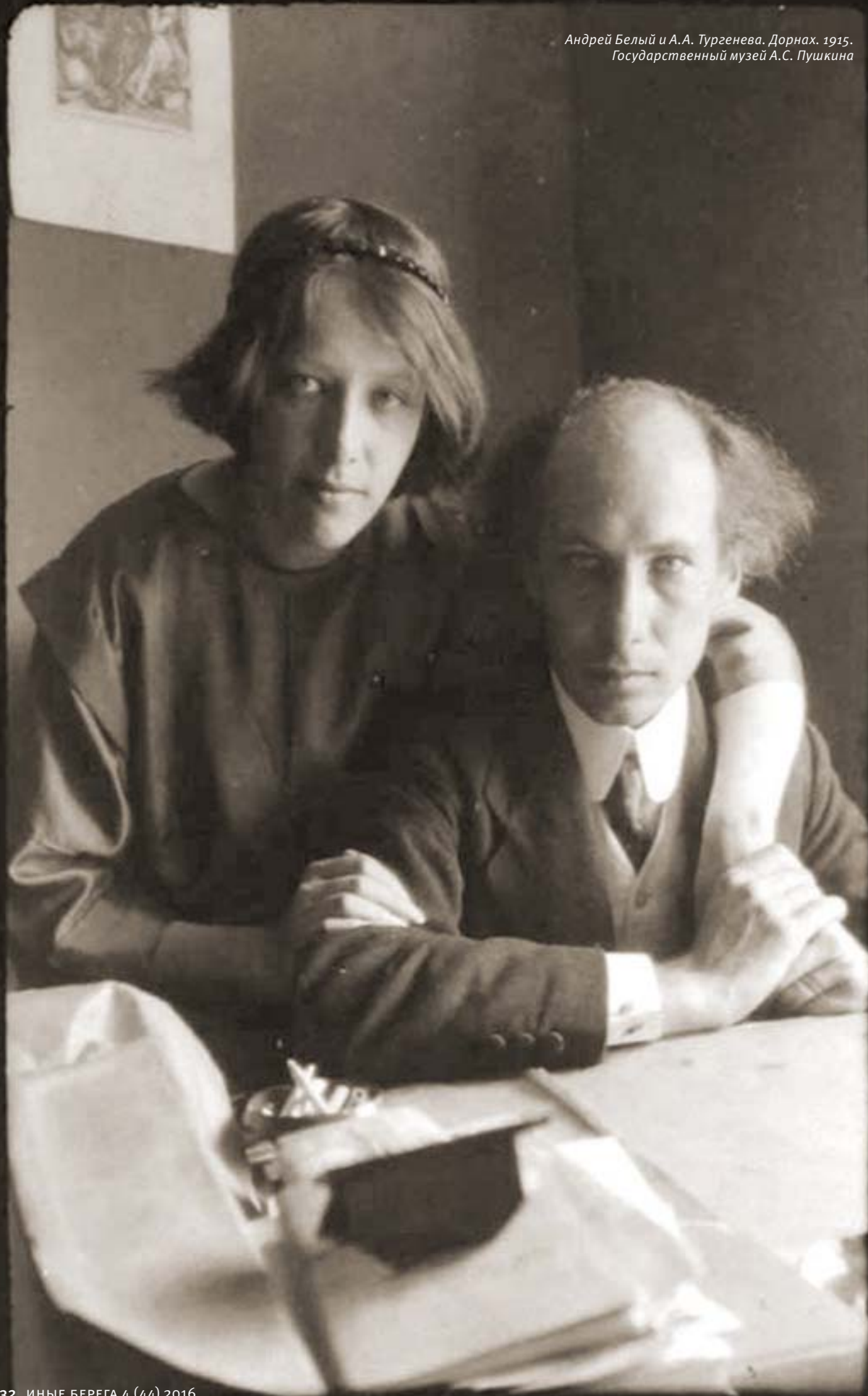


Андрей Белый и А.А. Тургенева. Дорнах. 1915.
Государственный музей А.С. Пушкина



«МАТЬ-РОССИЯ! ТЕБЕ МОИ ПЕСНИ»

Как Андрей Белый не стал эмигрантом (По свидетельствам современников)

Тимофей Прокопов

*Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой —
Мать-Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?*

А. Белый. Родина

В начале несколько предварений. Для Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880–1934) зарубежье было территорией познанной и освоенной: он с сентября 1906 до марта 1907 года жил в Мюнхене и Париже, с ноября 1910 до апреля 1911 путешествовал (вместе с женой Асей, Анной Алексеевной Тургеневой) по Италии, северной Африке, Палестине, Турции, с марта 1912 по август 1916 странствовал (с Асей же) по Германии, Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Дании, Швеции. И всякий раз в Москву возвращался переполненным не только впечатлениями, но и творческими замыслами, а также с рукописями новых работ. Возвращался — радостно: в гостях хорошо, но дома лучше. Обе российские революции, столетие которых мы ныне отмечаем, встретил и принял, как пояснял он, в «скифском аспекте — как мятежную очистительную стихию, открывающую пути к “революции духа”», что и выразил в публикациях того времени — в статьях, стихах, романах.

В 1919–1921 годах им снова были предприняты попытки выехать за границу (якобы к жене: она осталась в Швейцарии, решив прервать супружество с Белым). «...Я неустанно хлопотал о выезде, — писал он Асе 11 ноября 1921 года. — Меня не пустили в феврале 1920 года, потом в августе 1920 года не пустили вторично». Не помог ему ускорить выезд и тот, чье мнение власти слушали, хоть и слыл он «полуэмигрантом», — Горький, которого Белый

известил о своем намерении 4 января 1920 года. Однако решение властей все откладывалось, что привело его отчаянности к отчаянному шагу: попытаться нелегально пересечь границу. Об этом вспомнил и написал соучастник отважного плана философ А.З. Штейнберг в мемуарах «Друзья моих ранних лет (1911—1928)», изданных в Париже в 1991 году. Тогда многие именно так, тайными путями, убегали из России: кто по льду Финского залива, кто через него же на лодке (как А.В. Амфитеатров с семьей).

«Мои дела, — дружески делился Белый с Р.В. Ивановым-Разумником 17 июля 1920 года, — были бы в блестящем виде (Луначарский дает командировку: она — дана уже), если бы не... 2-й зарез (мне не везет!). Каменев (член Политбюро ЦК большевистской партии, председатель Моссовета. — Т.П.) сказал: “Если Бальмонт обманет, то не выпустим ни одного писателя, ни одного интеллигента”. А уже появилось, говорят, ужасное интервью».

Прервем цитату, чтобы пояснить: в июне 1920 года К.Д. Бальмонту и Вяч.И. Иванову позволили выехать за границу по командировке Наркомпроса, получив от них заверения, что они не будут выступать против Советской власти («под честное слово», данное А.В. Луначарскому, поручившемуся за них). Бальмонт еще ранее в нескольких письмах наркому высказывал «свои горячие симпатии революции», заявлял, что он «давнишний враг европейского империализма» (см.: *Литературное наследство. В.И. Ленин и А.В. Луначарский. М., 1971. Т. 80. С. 210—211*). Одна-



Андрей Белый в гостиной арбатской квартиры. Москва. 1900-1901. Государственный музей А.С. Пушкина



Борис Бугаев. Москва. 1890-е. Государственный литературный музей

ко, едва пересек границу, дал в Риге антисоветское интервью (Луначарский: «наговорил там какого-то вздора»). И у не успевшего выехать Вяч. Иванова разрешение тотчас было отозвано, отклонили также прошение М.П. Арцыбашева и других о выезде. «Если, действительно, и Бальмонт, — пишет Белый, — оказался нелояльным, а за Бальмонта поручились как бы все писатели, то — стыдно, стыдно до боли. Не пойду ни к кому хлопотать: не хочу, чтобы меня унизили! <...> Если Бальмонт — зарезал, и проситься не стану!! На месте властей я бы не выпустил сам себя!!!»

Разрешение Белому все-таки дали, правда, более чем через год — осенью 1921-го (заметим, что и Блок очень ждал этого же, да не дождался — нужная бумага пришла незадолго до его кончины). Похоронив друга, прочитав о нем (с большим успехом и не раз повторенные в Петрограде и Москве) лекции «Философия поэзии Блока» и «Воспоминания о Блоке», Белый наконец-то отправился 20 октября в Берлин. Уезжал с намерением оставаться там долго, но эмиграцией свой отъезд не посчитал, как, впрочем, и многие из тогда же уехавших: они на чужбине жили десятилетия с советскими паспортами, не теряя надежды вернуться «домой».

«МОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ»

Еще до революционных потрясений 1917 года, а затем и после них Белый опубликовал работы, в которых не остались незамеченными его позже сформулированные суждения «с определенным “да” пролетариату и социальной революции». Еще одна революция, провидчески пояснял он, «после ошибок Временного правительства виделась мне роковой неизбежностью с июня 1917 года уже» («Почему я стал символистом»).

В «ожидании взрыва» (октябрьского большевистского переворота) Белый встречается, обсуждает вопросы, опасные не только в то время («что будет с Россией, что станется с ними?»), спорит до ссор с ближайшими друзьями. Среди них в то время только четверо были для него собеседниками «главными» (такowymi он их называет в мемуарах): историк искусства Т.Г. Трапезников, с которым вместе еще в 1912 году в Мюнхене увлеклись антропософией, М.О. Гершензон, уже тогда сльвшийся непререкаемым авторитетом как историк литературы, обществовед, философ, ставший в марте 1917 года организатором и первым



А.А. Тургенева.
Портрет Андрея Белого.
Офорт. 1909

председателем Всероссийского союза писателей, А.С. Петровский («прекрасный химик», «мой вечный спутник по жизни»), Р.В. Иванов-Разумник, критик, публицист, историк литературы, предводитель «скифов».

«Оставшись чужд партийной политике в России, — писал Белый в автобиографии, — я тем не менее во всех устремлениях своих был с тогдашними крайними левыми; не одни литературные вкусы и личная дружба соединили меня с Ивановым-Разумником; темы народа, войны и революции были темами нашего сближения; но в «кадетской» культуре Москвы сидел я с зажатым ртом; лишь среди своих антропософов да среди «скифов» — петербуржцев, я высказывался откровенно» («Почему я стал символистом»). Здесь поясним, кто тогда назывался «скифами». Это те, кого объединила и даже сдружила идеология «духовного максимализма», мечтания о преображении России в протестных огнях и бурях, предвидения (так и не сбывшиеся) того, что России роль уготована миссионерская в мировой социально-духовной революции. Такие, увы, мало кем понятые и не очень-то восприимчивые идеи были выражены авторами двух литературно-политических сборников «Скифы», вышедших в 1917 (сразу после Февральской революции) и 1918 годах. Лидером «скифской» группы выступил Иванов-Разумник. Его друг и соредaktor сборников Белый в первом выпуске напечатал главы романа «Котик Летаев», статью «Жезл Аарона (О слове в поэзии)» и стихотворный цикл «Из дневника». Однако к 1921 году он (в статье «Так говорит правда») обозначил свой отход от «скифства», особенно в сфере морали, и выступил с призывом возвратиться к традиционным этическим ценностям.

Названной выше четверке своих в ту пору ближайших друзей-конфидентов Белый первым изложил то, что он назвал своей собственной концепцией «не двух, а трех революций (политической, социальной, духовной)». Она, эта

концепция, пишет он, «ставила меня вне государственного коммунизма и государственной демократии, ставшей вскоре во враждебном к коммунизму лагере; я был за принцип Советов, как за рычаг переворота, еще с 1905 года; и в 1917 году я надеялся, что в этом принципе найдет себе развитие и духовный переворот», «свободное развитие снизу вверх социально-индивидуальных коммун, отрицание политического ига». На этой идейной платформе ему тогда удалось найти согласных с ним, среди которых, отмечает он, «были даже коммунисты» («Почему я стал символистом»).

А далее читаем, к чему привели его такие им не таимые размышления: «Я был выброшен из политики туда, где и пребывал вечно: в антигосударственность». Крамольно прозвучавшую фразу (в ту пору и за меньшие откровения сажали и расстреливали) Белый написал (отважился написать) в марте 1928 года в автобиографическом очерке, который уже упоминался, — «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития». Об этом его замечательном труде сказать надо особо, отдельно, потому что очерк не просто автобиографический, он — больше: это еще и сокровенное его исповедание, философское осмысление того, как жил, как трудился человек по имени Андрей Белый, осмелившийся рассказать о себе без утайки всё-всё, не остерегаясь даже острых политических откровений. Можно ли было опубликовать такой документ в то время? Ответ: нет, конечно, и мемуар более полувека пылился на полках в РГАЛИ (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 74) — до 1982 года, когда его извлекли, прочитали и в американском издательстве «Ardis» выпустили в свет (пусть с изъянами, пропусками, неточностями, но текст к читателям пришел). Полный же его вариант был напечатан еще через десять лет уже в новой России (см. сборник: Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 418—493).

О попытках Белого найти свое место в рядах строителей нового общества читаем и в другой «Автобиографии», написанной им за два года до кончины — 12 ноября 1932 года: «С Октябрьской революцией начинается ряд моих лекционных, курсовых и др. выступлений, а также интенсивная работа в кружках. <...> Полагая, что писатель революционной эпохи должен работать с массой и поднимать ее культурный уровень, я посвящаю ряд лекций (публичных) проблемам культурной революции» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 3. Ед. хр. 18).

Нельзя не поразиться тому, насколько интенсивной была эта его «работа с массой» — он сам зафиксировал удивляющий нас сегодня результат: с 1918 по 1921 год (вплоть до отъезда за границу в октябре) он выступил 430 раз (см. им составленный документ: «Себе на память. Перечень прочитанных рефератов, публичных лекций, бесед (на заседаниях), оппонирований, председательствований и участия (активных) в заседаниях и т.д. с 1899 до 1932 г.» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 96). Помимо чуть ли не каждодневных выступлений он еще и, нисколько себя не щадя, работает и служит в Едином государственном архивном фонде (помощник архивиста), в литературной студии Пролеткульта, в петроградском Доме искусств и в московском Дворце искусств (где он в числе учредителей), в президиуме Всероссийского союза поэтов, в московском Антропософическом обществе, в Театральном отделе Наркомпроса, в Институте театральных знаний (и тут как один из учредителей), в Отделе охраны памятников старины, в Фундаментальной библиотеке наркомата по иностранным делам (помощником библиотекаря), в московском отделении «Вольфилы» (перечень можно длить и длить).

В этой многоликой культурно-просветительской и педагогической работе, заполнявшей его дни и годы, Белый, как он пишет, «забывал ужасные тучи сомнений, нависавшие надо мною и над моей личной жизнью». Каков был житейский антураж этих «ужасных туч сомнений», он, уже пересекая границу, в октябре — ноябре 1921 года подробно (на двадцати страницах!) написал жене Анне Алексеевне Тургеневой в письме, которое по каким-то причинам осталось неотправленным. Но текст не пропал благодаря тому, что его он оставил в Берлине В.Ф. Ходасевичу в числе других бумаг. Письмо опубликовал журнал «Современные записки» в год его кончины как память о нем (*Париж, 1934. № 55*). Читая эти страницы (жуткие, отчаянные, вызывающие сострадание), кто не поймет, что и в них тоже крылась одна из причин того, отчего Белый (и не только он) еще до массовых насильственных изгнаний 1922-го и последующих годов решил сам из России уехать (точнее: бежать, как и Бунин, Мережковский, Гиппиус, Бор. Зайцев, Амфитеатров, Ходасевич с Берберовой, Одоевцева с Г. Ивановым и еще десятки других, с кем Белого связывали годы приязни и враждований).

«С января 1919 г., — пишет он на пути в Берлин своей Асе в Дорнах, — я все бросил... лег под шубу и пролежал в полной прострации до весны, когда оттепель немного согрела мою душу и тело... И не нам, старикам (Белому исполнилось только 39! — Т.П.), вынесшим на плечах 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 годы, рассказать о России. И хочется говорить: “Да, вот — когда лежал два с половиной ме-



Л.С. Бакст. Портрет Андрея Белого. 1906. Репродукция из журнала «Золотое Руно» (1907. №1) с пояснительной надписью А.Д. Бугаевой хранилась в ее альбоме. Дар Т.В. Нориной.

сяца во вшах, то мне...», «Две недели лечился от экземы, которая началась от вшей, и т.д.» Или начнешь говорить: «Когда у меня за тонкой перегородкой кричал дни и ночи тифозный...» Да, жил и ходил читать лекции, готовился к лекциям под крик этот... В комнате стояла температура не ниже 8 градусов мороза, но и не выше 7 градусов тепла. Москва была темна. По ночам растаскивали деревянные особняки... Жил я в это время вот как: у меня в комнате в углу была свалена груда моих рукописей, которыми я пять месяцев подтапливал печку; всюду были навалены груды старья, и моя комната напоминала комнату старьевщика; среди мусора и хлама, при температуре в 6–9 градусов, в зимних перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до колен ногами, просиживал я при гнуснейшем свете перегоревшей лампочки или готовя материал для лекции следующего дня, или разрабатывал мне порученный проект в Т.О. (в Театральном обществе. — Т.П.), или пишучи «Записки чудака», в изнеможении бросаясь в постель часу в четвертом ночи; от чего просыпался я в десять часов и мне никто не оставлял горячей воды; итак, без чаю подчас, дрожа от холода, я вставал и в одиннадцать бежал с Садовой к Кремлю (где было Т.О.), попадая с заседания на заседание; в три с половиной от Кремля по отвратительной скользкой мостовой, в чужой шубе, душившей грудь и горло, я та-

щился к Девичьему Полю, чтобы пообедать (обед лучше “советского”, ибо кормился я в частном доме — у друзей Васильевых). После обеда надо было “переть” с Девичьего Поля на Смоленский рынок, чтобы к ужину запастись гнилыми лепешками. Оттуда, со Смоленского рынка, тащился часов в 5–6 домой, чтобы в семь уже бежать обратно по Поварской в Пролеткульт, где учил молодых поэтов ценить поэзию Пушкина, увлекаясь их увлечением поэзией, и уже оттуда, часов в 11, брел домой, в абсолютной тьме, спотыкаясь о невозможные ухабы; и почти плача оттого, что чай, который мне оставили, опять простыл и что ждет холод, от которого хочется кричать...»

Но не только из-за этих чисто бытовых невзгод в конце концов останавливается вся его предела не знавшая востребованность. В декабре 1920 года Белого на три месяца уложил в больницу несчастный случай («...падаю в ванне, ломаю копчик»). Это происшествие совпало с тем временем, когда там, за окном его больничной палаты, свершалось чудовищное, устранившее и его, и его друзей: разворачивались новые репрессии, обрушившиеся на левых эсеров, сочувственников которых он был. Еще в 1919-м в числе арестованных оказались его близкие знакомцы, в том числе Иванов-Разумник и Штейнберг. «Идеология марксизма мне чужда, — не утратился тогда Иванов-Разумник сделать такое признание следователю ВЧК. — В политической жизни как левых, так и правых <социалистов>-<революционеров> я не принимал участия. Я и мои друзья (Блок, А. Белый, Эрберг и др.) по своей идеологии, противоположной марксистской, примыкали к левым <социалистам>-<революционерам>, хотя бы и не все сочувствовали их политической борьбе» (Белоус В.Г. *Иванов-Разумник в архивах ЧК—НКВД—КГБ // Сегодня. 1994. 14 января. С. 9*).

В начале сентября 1921 года Белый, получив то самое разрешение на выезд за границу, коего так долго добивался, начал спешную подготовку к этой новой перемене в своей жизни. Какой она явится? Что изменит, что принесет его отъезд к эмигрантам — светлое... мрачное? С этими тревогами Белый участвует в ряде мероприятий, которые хоть и считал прощальными, но были они еще и очень необходимыми.

26 сентября 1921 года он председательствовал на вечере памяти своего друга Блока, состоявшемся в большом зале Политехнического музея. Аудитория, как сразу почувствовалось, не была дружественной. Когда он предоставил слово А.З. Штейнбергу и тот стал рассказывать о «ночной беседе» с Блоком в ЧК, разразился скандал, который им ясно намекнул: вечер подготовлен властями. «И если в Петербурге, — вспоминал об этом эпизоде Штейнберг, — мы предполагали, что после собрания, посвященного памяти Блока, кое-кого из нас могут арестовать за выражение свободной мысли, то в Москве была настоящая угроза погрома — набросятся на нас с кулаками!» (Штейнберг А. *Друзья моих ранних лет. 1911—1928. Париж, 1991. С. 96*).

Но в эти же предотъездные дни случились неожиданности совсем иного рода: Белому устроили очень его порадовавшие дружеские проводы. Собрание, ему посвященное,



провел московский Союз писателей — «форменный юбилей с профессорскими речами о моих “крупных” заслугах».

И второе «собрание (интимное) от организаций, в которых я работал в Москве». Наконец, «хорошие, теплые слова услышал я и от пролетарских писателей». «Я стал предметом “фетирований” (от нем. Fete — праздник, вечеринка, пирушка. — Т.П.), меня озадачивших; для “фетирования” не было никаких предлогов: ни юбилея, ни — какого-либо поступка моего; поскольку в проводах меня выражалась сердечность и доброе отношение ко мне, я был глубоко тронут; меня провожали речами на публичном собрании “В. ф. а.” (Вольной философской ассоциации. — Т.П.), где дрогнуло сердце от слов какого-то юноши (“вольфильца”): “Белый, когда вам станет страшно на Западе, вспомните, что мы, в России, всегда с вами, вас любим; и вам станет легче”. Слова юноши оказались пророческими; через 2 месяца панический ужас стал охватывать меня; и я вспомнил слова, что меня дома любят; в Берлине — никто меня не любил; ни антропософы, ни эмигранты; злословили о моих несчастьях, радовались, что западные антропософы — свиньи, Андрей Белый, хи-хи, — интересно! Но и этот интерес был непродолжителен; скоро я стал “бывшим”».

Эту свою поездку в Германию Белый позже и сам обзовет «периодом моего берлинского обморока», жизнью «в сплошном бреду» («Почему я стал символистом»).



Берлин. 1922

«МЕНЯ СПАСИТЕ ОТ МЕНЯ»

Сколько в Европе беженцев из России? Отвечая на вопрос, берлинская газета эмигрантов «Голос России» 8 января 1921 года опубликовала всех поразившие подсчеты (со ссылкой на сведения представителей Красного Креста и беженских комитетов): в Польше — 1 000 000 россиян, в Германии — 560 000, во Франции — 175 000, в Австрии — 50 000, в Италии — 20 000... (После эти цифры претерпят большие изменения: русские беженцы начнут из названных стран расселяться по всему белу свету.)

Еще интересные факты: если к середине 1918 года в Берлине издавались только четыре газеты для русских («Русский вестник», «Русский социалист», «Время» и «Голос России»), то в начале 1921 года к ним прибавились двенадцать новых изданий. Особо надо отметить, что тогда просоветские, пробольшевистские газеты и журналы своей задачей считали вовсе не популяризацию коммунистической идеологии, а — создание благоприятной обстановки для политического признания Советской России, разрушение ее дипломатической и экономической блокады (как не заметить здесь очевидную переключку с нашими днями!). Рассуждая об этом, газета «Руль» привела тогда ответ наркома и торгпреда Л.Б. Красина на вопрос, заданный ему русским эмигрантом в Антверпене: «Опасность большевистской пропаганды исчезает немедленно с подписанием торгового соглашения» (*Руль*. 1921. 5 мая. № 140).

Андрей Белый в Берлине попал в кратковременную, стремительно рассеивавшуюся атмосферу «советско-

эмигрантского сожительства и общения» (Г. Струве); она, действительно, разрушилась быстро, но след оставила примечательный. О большинстве проживавших в Берлине русских тогда никак невозможно было с бесспорной определенностью говорить: вот этот все еще советский, а этот уже эмигрант. «В таком промежуточном положении, — пишет, исследуя вопрос, русский парижанин Глеб Струве, — были, с одной стороны, недавно приехавшие из России писатели — такие, как Белый, Шкловский, Ходасевич, Эренбург, с другой стороны, «сменившие вехи» и ставшие сотрудничать в «Накануне» эмигранты, вроде Алексея Толстого, Александра Дроздова и Романа Гуля. Судьбы их сложились по-разному, пути разошлись. Андрей Белый <...> был явно на пути к тому, чтобы стать эмигрантским писателем» (*Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж—Москва, 1996. Изд. 3. С. 34-35*).

Верно ли такое предположение известного историка русского зарубежья? Попробуем это понять, основываясь на свидетельствах (их не менее сотни) еще и других современников Андрея Белого.

Совсем недолгий берлинский период жизни Белого ознаменовался очень важными (не только для него) свершениями: ему удалось издать наибольшее количество своих книг — 16! (Прецедент небывалый, рекордный в истории литературы.) Из них, помимо семи переизданий, девять впервые вышедших в свет. Назовем эти новые хотя бы для того, чтобы подивиться: как много успевал он сделать при кажущейся неспешности его берлинской жизни, невидности, закрытости его на самом деле напряженной творческой деятельности. Вот эти книги 1922 года: «Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис», «Звезда. Новые стихи», «Стихи о России», «После разлуки. Берлинский песенник», «Возвращение на родину»,



*Русские писатели
в Берлине. Сидят
(слева направо):
А.М. Ремизов, А.С. Яценко;
стоят: Андрей
Белый, Б.А. Пильняк,
А.Н. Толстой,
И.С. Соколов-Микитов.
1922*

«Сирин ученого варварства», «Записки чудака. Т. 1–2», «Глоссолалия. Поэма о звуке», «Воспоминания о Блоке».

Добавим к этому еще то, что он участвовал в организации берлинской «Вольной философской ассоциации» («Вольфильты») и берлинского Дома искусств, выступал с лекциями, основал журнал «Эпопея», сотрудничал в эмигрантской прессе, в том числе соредактерствовал в журнале Горького «Беседа». Казалось бы, осваивался, приживался на долгие времена. Однако за этой безудержной активностью, всегда отличавшей Белого, укрывались его тревоги, душевное беспокойство. Об этом читаем, например, в письме В.Ф. Ходасевича к М.О. Гершензону от 14 ноября 1922 года: «Чувствует он себя очень плохо. Вы, вероятно, знаете безобразную и безвкусную историю его жены с Куסיковым (sic!), — какую-то жестокую и истерическую месть ее — за что? одному Богу это ведомо толком. (Здесь поясним: с упомянутым поэтом Л.Б. Куסיковым, который был моложе Аси на шестнадцать лет, она демонстративно появлялась там, где бывал Белый, чтоб досадить ему. — Т.П.). Белый очень страдал и страдает. Прибавьте к этому расхождение если не с антропософией, то со Штейнером (идеологом антропософии. — Т.П.) — и вы поймете, как плохо бедному Б.Н. Он много пил и пьет. Только невероятное здоровье (внутреннее и физическое) дает ему силу выносить это».

Через полмесяца Ходасевич о том же и тому же адресату: «Берлин — Бедлам. <...> Его <Белого> очень задержали в Берлине. Жена пишет ему злобно-обличительные послания. Мать умерла. Добронравные антропософы пишут ему письма “образумивающие”, по антропософской указке, которая стоит марксистской. <...> Он сейчас так несчастен, как никогда не был, и очень трудно переносит одиночество».

В начале 1920-х годов многие из тех, кто даже на краткий срок выезжал из своей страны, ощущали себя, как и Белый, — все-таки эмигрантами, беженцами, которых не покидала тревога о том, вернутся ли они, более того — пустят ли их обратно (для возвращения требовалась «обратная» виза). Среди таких оказались Шкловский, Эренбург, Цветаева, Ал. Толстой и еще сотни других. С приездами в СССР не испытывал затруднений разве что Горький, пользовавшийся полутоварищескими отношениями с Лениным, и это помогало ему (лишь до поры, до времени) даже добывать разрешения на выезд и въезд многим.

А теперь приведем три мемуарных портрета Белого — такого, каким он предстал перед русскими берлинцами, дружески его встретившими, — Борисом Зайцевым, Ильей Эренбургом, Мариной Цветаевой...

Б.К. Зайцев знал его еще юношей: «оттиснут в памяти печатью романтической — прозрачные, чистые краски были в нем тогда. И нечто певуче-летающее, с оттенком безумия». А теперь? Через четверть века? «Берлин, — пишет Борис Константинович, — как-то огрубил его. По всему облику Белого прошло именно серое, берлински будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг. От эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого выпивающего — не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее».

Иначе, не жалея словесных красок, живописует Белого Илья Эренбург: «Я часто с ним встречался в Германии в



Русские писатели в Берлине в 1922 г. Сидят: Андрей Белый, М.А. Осоргин, А.В. Бахрах, Б.К. Зайцев. Стоят: А.М. Ремизов, В.Ф. Ходасевич, П.П. Муратов, Н.Н. Берберова. Фото из Интернета

1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне призраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподымался; казалось, еще минута — и он превратится в облако; говорил он не с собеседником, а с воображаемым обитателем воображаемой планеты. Слово “эфир” давно стало техническим термином работников радиовещания. <...> А тогда слово “эфир” еще звучало таинственно: “Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края...” Так вот, мне казалось, что Андрей Белый говорит исключительно в лермонтовский эфир: Россия — мессия, разрушение — созидание, бездна — взлет... Он восхищал меня, но я думал: тебе хорошо, ты и не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни развоплощаться, ни испаряться, ни вещать...» (*Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 1. С. 276—277*).

И тут же Эренбургом приводится, для сравнения, впечатление от другой его встречи с Белым: «Огромные, широко разверстые глаза, бушующие костры на бледном изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он, будто Сивилла вещающая, и, читая, руками машет, подчеркивая ритм не стихов, но своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом — тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми. Ветер в комнате... Андрей Белый гениален. Только странно, отчего минутами передо мной не храм, а лишь трагический балаган?» (*Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 1. С. 408*).

С оглядкой на то, каким Белый был в годы ушедшие, пишет и Марина Цветаева. Встретившись с ним и долго-долго беседуя за «столиком Эренбурга» (был такой в кафе «Pragerdiele» на Pragerplatz'e, где Илья Григорьевич каждый день и столовался, и работал, и встречался с приятелями),

они, перебивая друг друга, перенеслись «из Берлина 1922 года в Москву 1910 года». Марине Ивановне припомнились первые узнавания о Белом: «знакомством» они еще не являлись, то были ее полугимназистские времена, но в ту пору уже читались восхищенно его «симфонии», повести, стихи, полемические статьи, а имя его она слышала то там, то здесь в московских домах. Однажды и встреча с ним выпала (нечаянная, беглая, «с самым знаменитым писателем России!» — восклицает Цветаева). Произошло это «событие» (для нее памятное и важное) у поэта и владельца издательства «Мусагет» Эллиса в тот миг, когда Белый уже уходил, но хозяин задержал его и представил ему: «А это — Цветаевы, Марина и Ася». (Белый в «Pragerdiele»: «Вы? Вы? Неужели та — вы? Но где же тот румянец?! Я тогда так залюбовался! Восхитился! Самая румяная девочка на свете».)

В том же «Мусагете» имя Белого услышалось Цветаевой еще раз — «в трехсестринском кругу Тургеневых», двоюродных внушек великого писателя: «в одну влюблен Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую — Андрей Белый, в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но вскоре влюбятся все». Ася Тургенева в 1911 году станет женой Белого и уедет с ним в многолетнее «свадебное» путешествие по Европе («От него шло сияние!», «он не уезжал — отлетал»).

«Больше я Аси никогда не видала», — вспоминает Цветаева. Тургенева в Россию из путешествия не вернется и с мужем вот-вот ожидалось ее трудное расставание навсегда. Об этом собеседники за столиком в «Pragerdiele» упоминали нехотя: для Белого тема тяжелая, трагически им переживаемая здесь, в Берлине (см.: *А. Белый. Жизнь без Аси // РГБ. Ф. 25. Карт. 31. Ед. хр. 1*).

«На другое утро, — вспоминает Цветаева далее, — издатель, живший в том же пансионе и у которого ночевал



Союз журналистов
и литераторов в
Берлине. Фото из
Интернета

Белый, когда запаздывал в свой загород (он квартировал в поселке Цоссен под Берлином. — Т.П.), передал мне большой песочный конверт с императивным латинским Б (В), надписанный вершковыми буквами, от величины казавшимися нарисованными.

— Белый уехал. Я дал ему на ночь вашу “Разлуку”. Он всю ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать.

Читаю:

“Zossen. 16 мая 22 г.

Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией Вашей книги “Разлука”.

Я весь вечер читаю — почти вслух; и — почти распевая. Давно не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к мелодике стиха, столь нужной после расхлябанности москвичей и мертвенности акмеистов, Ваша книга первая (это — безусловно).

Пишу — и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?

И — нет, нет; я с большой скукою развертываю все новые книги стихов. Со скукою развернул и сегодня “Разлуку”. И вот — весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверение в совершенном уважении и преданности. Борис Бугаев”.

Последовала затем короткая переписка между ними. На одну из записок вместо ответа — его о книге Цветаевой отклик-рецензия «Поэтесса-певица» в берлинской газете «Голос России» (1922. 21 мая). Ее сборник «Разлука» интересен еще и тем, что именно он воодушевил Белого на ответные стихи, которые он издал под названием, перекликающимся с цветаевским: «После разлуки. Берлинский песенник», и станут они для него последни-

ми — больше он стихов не писал. К Марине Ивановне эта книга пришла еще раз много лет спустя, тогда, когда она узнала о кончине Андрея Белого и взялась писать свои воспоминания о нем. Ее очерк «Пленный дух» (по общему признанию, лучший из мемуаров о Белом) был напечатан в парижском журнале «Современные записки» (1934. № 55). В постскриптуме она пишет:

«Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич (Эфрон, муж Цветаевой. — Т.П.), вечером, мне:

— Достал “После разлуки”. Прочел стихи — вам.

— Как — мне? Вы шутите!

— Это вы шутите, не можете же вы не помнить этих стихов. Последние стихи в книге, единственное посвящение. Больше никому нет.

Все еще не веря, беру в руки и на последней странице, в постепенности узнавания, читаю:

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

*Неисчислимы
Орбиты серебряного прискорбья,
Где праздномыслия
Повисли тучи.
Среди них
Тихо пою стих
В осязаемые угодия
Ваших образов,
Ваши молитвы —
Малиновые мелодии
И
Непобедимые
Ритмы.*

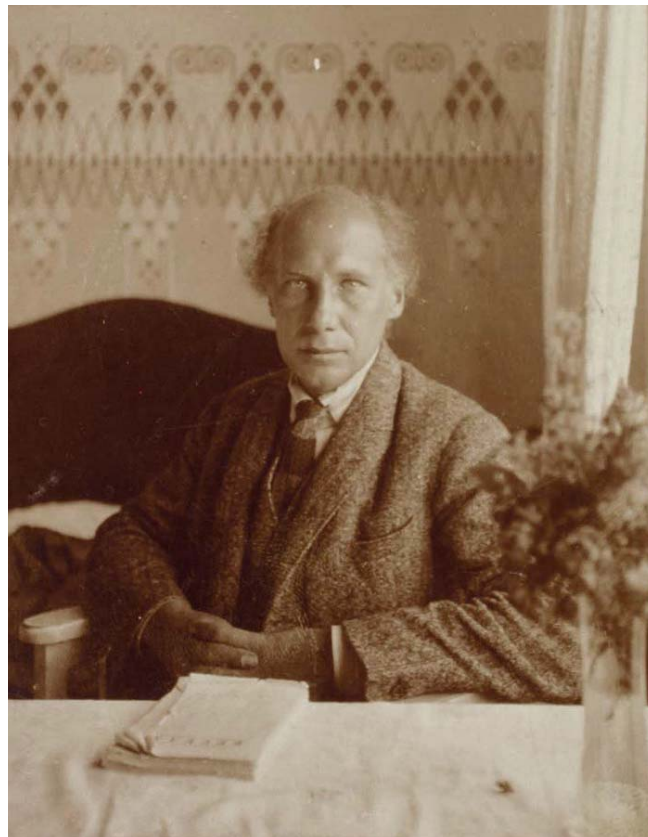
Цессен 1922 года.

Несмотря на то, что Белого в Берлине окружали десятки тех, кто жаждал встреч и общения с ним, он никак не мог избавиться от каждодневного ощущения безмерного одиночества (сам он это время назовет «периодом моего берлинского обморока»). Насколько мучительной, «кризисной» была его растревоженность, узнала одной из первых соратница по Русскому антропософскому обществу К.Н. Васильева (1886–1970). Ей же об этом в подробностях рассказала писательница Мария Михайловна Шкапская, вернувшаяся весной 1923 года в Москву из заграничной поездки. Как вспоминает П.Н. Зайцев, Шкапская в Берлине встретила Белого, и он «произвел на нее впечатление человека, находящегося в последней степени нервного расстройства. По существу бездомный, он скитался по всевозможным кафе, бессвязно и путано рассуждал, говорил о своих намерениях бросить бомбу в Пуанкаре (французского президента. — Т.П.), делился и другими планами, столь же фантастическими».

О своем берлинском двухлетии Белый и сам вспоминал как о времени, в котором сосредоточилось для него все самое душевно мучительное, то, что менее остро испытывалось им не раз и прежде: «Мне казалось в Берлине, что меня истязают; с переживаниями 1922 года связывались переживания вереницы лет: от детских напраслин, через “дурачка”, через “безумца” стихотворения 1904 года, через “Затерзали пророка полей” (из стихотворения 1907 года), через “обвиненного” в чем-то Метнером, через “темную личность” антропософских сплетен 1915 года, через “бывшего человека” 1921 года тянулась, усиливаясь, меня терзающая нота; и в 1922 году воскликнулось: за что терзает меня? Я бегал в цоссенских полях, переживая муки, которых не было ни образа, ни названия и которые тщетно силился я угасить в вине» («Почему я стал символистом»).

Все эти печальные, недобрые вести о Белом донеслись до его друзей в России, в том числе узнала о них К.Н. Васильева, его соратница с 1916 года («антропософская богородица», близость с которой с апреля 1918 года перешла «в ту прочную связь, которая стала уже нерасторжимой» // *Белый А. Ракурс к дневнику. РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100*). Печательная Клавдия Николаевна приняла близко к сердцу все то, что ей рассказывали о берлинских терзаниях Белого, и, «как человек исключительной энергии» (П.Н. Зайцев), тогда же принимает решение: ехать, не медля, к нему, чтобы спасти от «безобразий» его жизни в немецкой столице. Как была им встречена? «Радость: приезд в Берлин К.Н. Васильевой, — вносит он запись в свой дневник. — Засиживаюсь дома. Нигде не бываю. Провожу вечера с К.Н.». А позже, в 1928 году, в автобиографии напишет: «Если бы не дружеская, ласковая антропософская поддержка из Москвы в лице К.Н. Васильевой, приехавшей в Берлин в 1923 году и разделавшей мои истинные думы, мне не вернуться бы...».

Вернуться в Россию... Такое решение, казавшееся почти что невозможным, пришло и к Васильевой, и к Белому совсем легко. Клавдия Николаевна написала об этом 27 июня 1923 года П.Н. Зайцеву из Гарцбурга: «Если бы знали вы, как отсюда особенно любишь Россию, как трудно вдали от нее. Само по себе это было большим испытани-



Андрей Белый. Берлин. 1923. Государственный музей А.С. Пушкина

ем для меня. Иногда без ужаса не могла подумать о “далях пространства”, лежащих между мной и Россией. Здесь очень “страшно” в Европе». Разделяя такие же чувства, Белый в приписке к этому письму Клавдии Николаевны пишет своему другу: «Ужасно скучаю по России: трудно в Берлине, как я, просидеть 1 ½ с лишним года. Очень помню друзей. С удовольствием приехал бы в Россию. Может, и приеду. Трудно жить с берлинскими русскими: часто одолевает тоска» (*Зайцев П. Московские встречи // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 561*).

О том, что Белый в эмигрантской среде так и не прижился, что чужбина не стала для него вторым хорошо обживаемым домом, нам оставил воспоминания и другой Зайцев — Борис Константинович:

«И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. <...> Его пустили. На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

— Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:
— Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о “берлинских друзьях” (с одним из которых, Ходасевичем,

успел поспориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется. <...>

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном “солнечными стрелами” нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его — горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани» (Зайцев Б. Собр. соч. Т. 6. Мои современники. М., 1999. С. 181—182).

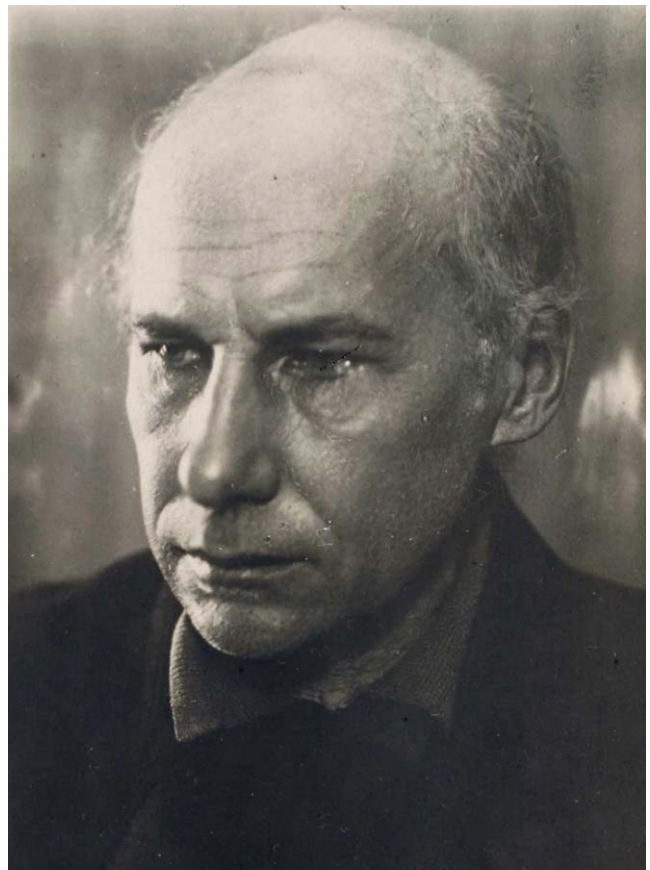
«ТАК, КАК ПОСТУПИЛИ СО МНОЙ, ХУЖЕ РАССТРЕЛА»

«Из тарараха в тарарах» — этими словами Белый, то ли пошучивая, то ли всерьез, определил им увиденное в России после всего-то двух лет его несостоявшегося эмигрантства. В Москву он вернулся 26 октября 1923 года и родной город не узнал: перемен столько, что в их искании усердие не понадобится — они всюду. Он помнил, как тепло его провозжали, как дружески высказывали пожелания быстрее вернуться и ждал такого же благожелательства к себе возвратившемуся. Правда, еще тогда, до отъезда, в нем ощутились и сомнения, увы, сбывшиеся: «Я и не подозревал, что в этом импровизированном юбилее были похороны».

И вот первый удар, которым был он встречен на родине, удар тяжелый, потому что нанес его деятель из высших инстанций страны — Л.Д. Троцкий, второй у коммунистов человек после Ленина. 1 октября 1923 года он, член Политбюро большевистского ЦК, опубликовал в «Правде» статью под названием, равнозначным приговору: «Внеоктябрьская литература. А. Белый. А. Блок». «В Белом, — писал он, — межреволюционная (1905–1917), упадочная по настроениям и захвату, утончавшаяся по технике, индивидуалистическая, символическая, мистическая литература находит наиболее сгущенное свое выражение, и через Белого же она громче всего расшибается об Октябрь. Белый верит в магию слов; об нем позволительно сказать поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым».

А завершалась статья вердиктом, равным судебному: «Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет».

Тогда и началось враждебное и устрашающее, не Троцким ли развязанное и им самим вскоре испытанное. В 1923 году закрыли те философско-литературные объединения, в которых Белый особенно активничал. Участники же собраний, его друзья и сподвижники, затаились в ожидании кар. И кары не заставили себя долго ждать: всю страну охватили обыски и аресты тех, кого посчитали инакомыслящими (по ленинской терминологии, «шпионами», «врагами революции»), в такие зачислили и друзей Белого.



Андрей Белый. 1933. Москва. Государственный музей А.С. Пушкина

После выхода в 1923 году в издательстве «Колос» книги Р.В. Иванова-Разумника «Вершины: Александр Блок, Андрей Белый» на все его творчество был наложен негласный запрет: «Цензура предложила издательству впредь не предлагать для цензурования книги этого автора, ибо они вообще, независимо от их содержания, пропускаться не будут» (Возвращение. Вып. 1. М., 1991. С. 332). Ему было позволено выступать в печати только как переводчику и редактору. А 2 февраля 1933 года друг Белого снова попал в тюрьму (напомним: он уже арестовывался в 1919-м), на этот раз в числе 763 ленинградцев, арестованных по сфабрикованному ОГПУ делу о «контрреволюционной эсэровско-народнической организации Ленинградской области». Обвинили его в том, что именно он руководил антисоветской деятельностью «идейно-организационного центра народнического движения». Однако в 1936-м его отпустили, и он занялся подготовкой к изданию, книги «Письма Андрея Белого к Иванову-Разумнику. 1912–1932». В сентябре 1937 года последовал его третий арест за то, что «вел контрреволюционные разговоры, обсуждая возможности свержения советской власти». А через два года власти одумались и освободили его.

В воспоминаниях И.Д. Авдиевой рассказывается, как она стала свидетельницей, когда самим Белым раскрылось долго им тайное, прорвалось без соблюдения осторожности и опасливых умолчаний:

«Андрей Белый спросил однажды Разумника Иванова: “Принимая во внимание” что Россию угнетали Рома-

новы в течение 300 лет, сколько может продлиться большевистский террор?»

Разумник Васильевич ответил: «Конца мы не увидим, ибо нас уже не будет» (Лица: Биографический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 302).

Белый еще не знал, но, может быть, уже чувствовал, что аресты его друзей — это тучи, сгущающиеся и вокруг него. Об этом сделает признание П.Н. Зайцев, правда, не скоро, а после двух своих арестов: первого — в мае 1931-го (тогда он был сослан в Казахстан) и второго — в 1935-м (просидел до 1938-го) за организацию, якобы, контрреволюционной деятельности, заключающейся в том числе в связях с А. Белым и в чтении его произведений друзьям и знакомым. Об этом он написал А.Н. Толстому (депутату Верховного Совета СССР) 26 июля 1940 года, посылая ему свое ходатайство о снятии с него судимости. В письме читаем: «Все следствие по моему делу с начала до конца велось в линии моих отношений к Б.Н. Бугаеву, его жене Клавдии Николаевне и кругу лиц, которые были с ним в той или иной степени связаны. При аресте у меня было отобрано больше десятка книг А. Белого <...> и несколько рукописей и писем Б.Н. Бугаева. На первом же допросе следователь НКВД поставил мне в вину чтение стихов А. Белого в литкружке. В центре всего следствия стояли философские воззрения А. Белого и тех, кто с ним был связан» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М., 1993. С. 225–226).

Как на все это откликался Белый (о преследованиях своих друзей «возвращенцу» рассказывали многие), узнаём из письма М.О. Гершензона к Л.И. Шестову от 3 мая 1924 года: «...много пишущий А. Белый теперь ничего не пишет — всю осень и зиму, а судя по его лицу — ходит порожний, без мыслей. Съездил в Петербург, съездил в Киев, читал лекции там и там, накопил немного денег на лето, и только. Ему пришлось круто, когда 2 года назад, он уезжал за границу, его провожали в Петербурге и здесь с энтузиазмом, его последние выступления были сплошными и трогательными овациями. А вернулся — его встретили с полным равнодушием, и теперь — точно его нет. Обидно за него; он это, верно, больно чувствует, да и в самом деле безобразно: чем провинился перед публикой?» (Минувшее: Исторический альманах. Вып. 6. М., 1992. С. 299–300).

Дадим слово и самому Белому — вот как описал он свое возвращение на родину: «Я вернулся в свою “могилу” в 1923 году, в октябре: в “могилу”, в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого; за ними все критики и все “истинно живые” писатели; даже “фетирировавшие” меня в 1921 году (те, что устроили ему дружеские проводы. — Т.П.) странно обходили меня, опустив глаза; крупные заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что самое появление мое в общественных местах напоминало скандал, ибо “трупы” не появляются, но гниют. Я был “живой труп”, “В. ф. а.” («Вольная философская ассоциация». — Ред.) закрыта; “А. о.” («Антропософическое общество». — Ред.) — закрыто; журналы — закрыты для меня; издательства закрыты для меня; был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего

на Арбате... с протянутой рукою: “Подайте бывшему писателю”» («Почему я стал символистом»).

Об участии, настигшей Белого «дома», многое нам сегодня разъясняет еще один документ — его письмо В.Э. Мейерхольду от 5 марта 1927 года: «...если бы несколько лет назад меня грубо не вытолкали б из всех обителей русской культуры, если бы не закопали заживо человека, который (это я знаю хорошо) может быть полезным, имеет что сказать, чего другие не имеют, я бы с головой ушел в ритм социального выявления и жил бы той атмосферой, которой некогда жил в “Вольфиле”. Так, как поступили со мной, хуже расстрела: живого, полного энергии человека заживо закопали. Но он, из своего гроба, создал себе новое воскресение; он вышел из социального гроба в отшельничество, уселся за книги, за мысли. И стал еще живей, чем прежде. <...> Некогда я, бросив монументальные творческие планы, весь ушел в деятельность общественную; и был там, как рыба в воде; но рыбу заставили жить в воздухе, лишили “живой воды”. Я стал жить воздухом; не зовите меня обратно в “воду”. Москва, поездки туда, все предложения, какие мне делают, отдаются мне болью. Ведь работать во весь голос с людьми мне нельзя (сами знаете!). И стало быть, надо работать без людей, но для людей: для будущего» (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1 Ед. хр. 1160).

Еще эпизод того времени — о нем вспомнил Роман Гуль: «Андрей Белый приехал в Ленинград к Толстому. Вдруг телеграмма из Москвы, что в его квартире произведен обыск и забраны все дневники (неужто назревал арест? — Т.П.). Белый в ужасе телеграфирует Горькому. Ответная телеграмма: меры приняты, будьте спокойны. Белый все-таки мчится в Москву. Дневники он получил назад (после снятия копий, конечно) — продолжай, мол, дальше» (Гуль Р. Я унес Россию. Т.1. Россия в Германии. М., 2001. С. 313).

Не избежала страшной участи и жена Белого Клавдия Николаевна: 31 мая 1931 года ее арестовали — попала под вторую волну преследований антропософфов. Белый в отчаянии написал письмо самому Сталину вместе с заявлением на имя прокурора Катаняна, ведшего дело Бугаевой. И — о, радость! — добился освобождения жены: 3 июля обвинения с нее сняли. Однако не это ли событие стало главным в ряду тех печалей, что преждевременно, всего на 54-м году, свели его в могилу?

Осип Мандельштам три скорбных дня после кончины Белого провел в раздумьях о нем и написал памяти ушедшего семь (!) стихотворений, которые страной будут прочитаны не скоро — в 1960-е годы, тогда, когда в СССР ненадолго восторжествует по-весеннему обнадежившая всех политическая «оттепель» (так это время, начавшееся после смерти Сталина, назовут по повести Эренбурга, вышедшей в 1954 году). Тогда, когда, словно впервые, словно заново, откроются многие запретные имена, в том числе имена и книги Белого и его друзей.

В одном из стихотворений своего «беловского» цикла Мандельштам пророчески написал:

Меж тобой и страной
Ледяная рождается связь. ИБ